Страх есть посторонняя, чуждая сила, овладевающая человеком; вырваться он не может из ее власти, потому что боится: чего мы боимся, того мы желаем вместе с тем.

Кьеркегор

19 февраля 1994 года (мне памятен этот день) я заглянул — отчасти намеренно — в букинистическую лавку небольшого американского городка в Нью-Джерси: я давно заприметил ее. Только что перед тем я узнал, что моя книга, об издании которой я хлопотал здесь, в США, по ряду причин снята с печати. Я не считал это слишком большой потерей, но все же думал как-нибудь подбодрить себя. Поход в букинист в этом смысле меня устраивал.

Лавка была совсем скромной, с парой столиков для чтения при входе; впрочем, тут подавали и кофе. Я, однако, не хотел никакой пищи, кроме духовной, а потому, осмотрев стеллажи, подошел рассчитаться к хозяйской конторке, тут же в углу. Трофей этого визита, как мне казалось, должен был ограничиться изящной работой Шнейдмана «Смерть человека», трактующей с неожиданной стороны творчество Германа Мелвилла, моего любимца; я был рад, что нашел ее здесь. К моему изумлению, хозяин, назвав цену (сознаюсь, смехотворно низкую) и глядя, как я пытаюсь разобраться в мелочи, — я был в Штатах всего первый месяц и еще не освоился с местной монетой, легко

путая пять центов и пятьдесят, — вдруг с неожиданным любопытством спросил, не русский ли я. Я отвечал утвердительно. «Меня зовут Люк», — представился он. На вид ему было лет сорок пять. «Hi, Luke! (приветствие)» — сказал я и тоже представился. Было видно, что мое имя его потрясло: неловко улыбаясь, он шевелил губами, пробуя его повторить. Потом улыбнулся еще шире и бросил это пустое дело. «Видите ли, мистер, — продолжал он, сохраняя вынужденную церемонность, тяготившую его, но теперь неизбежную, — у меня для вас есть презент. Может быть, он вас заинтересует». Он нырнул под конторку и с редкой быстротой извлек и подал мне небольшой альбом в цветной обложке. Открыв его, я едва не выронил три вложенные внутрь русские школьные тетради, мелко исписанные с начала до конца. Но это было еще не все. Тут же, в специальном кармашке, приклеенном к задней стенке альбома, помещался другой документ, листов в семь, тоже по-русски, однако набранный на компьютере. Бумага американского формата (Б5), судя по всему, повидала конверт, так как была сложена втрое. Сам конверт, аккуратно вскрытый сверху ножом для бумаги, крепился с внутренней стороны к переплету золотой скрепкой. Забота о нем была очевидна. Люк тотчас подтвердил, что, точно, получил его почтой, хотя на нем, как я успел разглядеть, был назван другой адресат — тот самый, что и на титуле верхней тетради. «Но, — сказал Люк, — когда пришло письмо, он уже не мог распечатывать свою корреспонденцию. Я вскрыл конверт, думая, что там, может быть, счет». Он ошибся. Ошибка эта была

простительна: он сам объяснил, что так и не понял, что же это такое. «Там нет ни обращения, ни подписи, — посетовал он. — Сколько я знаю русский алфавит, там вообще почти нет имен. Если только по-русски они не пишутся с маленькой буквы». Я разуверил его. Он серьезно кивнул, но попросил настоятельно забрать альбом с собой, ибо — я понимал сам — он был бессилен придумать что-либо лучшее. «А адрес?» — спросил я все-таки, косясь опять на почтовый штемпель. «Там теперь другие жильцы, — вздохнул Люк. — Юная барышня… К тому же у нее траур». — «Вот как!» — протянул я, подняв бровь. Он грустно кивнул. Больше ничего узнать было нельзя. И я принял папку.

Так я оказался хозяином странной хроники, которую привожу ниже. Ознакомившись с ней, я убедился с облегчением, что, в общем, чуда не произошло. Если не считать пары забавных совпадений, которых могло и не быть, весь этот скромный архив, сохраненный с тщанием и любовью, так или иначе должен был попасться в руки кому-нибудь из моих соотечественников — рано или поздно. Случай выбрал меня. Оговорюсь. Разумеется, нет ничего нового в том, чтобы выдать свои грехи за чужую мазню в угоду любителям «подлинных» фактов; это старый прием. Но те, кто знает меня ближе, верно, воздержатся от такого рода догадок. Текст оставлен мной без изменений, не считая чисто технической правки. По ряду причин я намерен избегнуть суждений о нем. Не хочу распространяться также об авторах обоих документов, тем паче что ничего о них и не знаю. Писательский навык первого (не скажу — дар) мне

кажется безусловным, несмотря на ряд весьма смелых, чтобы не сказать больше, пассажей. Что касается второго, то тут и способности, и цели куда скромней, а потому заслуживают снисхождения, порой даже просто человеческого. Впрочем, об этом читатель может судить сам. Жаль лишь, что именно этот фрагмент должен служить финалом. Что делать! Логика судьбы (необходимая тут формальность) не всегда считается с литературными предпочтениями, тогда как мне, со своей стороны, оставалось только покорно следовать ей. Впрочем, это наш общий удел — и в жизни, и в литературе. Все остальное, как известно, слова.

*О. П.*

# Часть первая

# I

Знание порой невыразимо. Тем безусловней чувство, основанное на нем. Работая над примечанием к одному из ранних рассказов Эдгара По, сборник которого в коммерческих целях готовило к выходу в свет мелкое частное издательство — мне вменялось в обязанность составление комментариев и техническая подготовка текста, — я наткнулся на странный факт, прежде вовсе упущенный мной. Рассказ назывался «Метценгерштейн». Написанный в «готическом» духе, тогда модном, он весь был построен на сверхъестественных совпадениях и злых чудесах. В нем шла речь о вековой вражде двух древних родов, обитавших когда-то «в самых недрах Венгрии», — так выражался автор. Время действия подчеркнуто не уточнялось. Судя, однако, по некоторым деталям, можно было предположить XVI или XVII век, что я хотел внести в свои заметки. Впрочем, историческая достоверность в рассказе подменялась весьма искусно видимостью ее. Внешнюю канву событий составляло исполнение давнего пророчества, которое и явилось как раз причиной старинной ссоры.

Последний Метценгерштейн, юный барон и сущий дьявол, коего автор уподобил царю Ироду и Калигуле, благоразумно не вдаваясь при этом в подробности его бесчинств, однажды сидел в зале своего дворца, созерцая выцветший гобелен, где был изображен его предок в момент торжества над одним из их кровных врагов. Гигантский конь этого воина, уже поверженного ударом ножа, стоял подле, «словно статуя». Внезапно он повернул голову и, взглянув с полотна человеческими глазами, страшно оскалил желтые, как у покойника, зубы. Сдерживая дрожь, молодой сеньор бросился вон из зала, однако во дворе в свете факелов вдруг увидал трех своих слуг, которые только что «переняли» из неприятельских конюшен, горевших в ту ночь, коня — живую копию изображенного. Клеймо на лбу не оставляло сомнений. Произнеся несколько слов, полных угроз и богохульства, Метценгерштейн вскочил на коня — и с тех пор, казалось, был прикован к седлу этой огромной лошади. Целыми сутками скакал он на ней по окрестным лесам, забыв сон и отдых, пока наконец, как-то в полночь, не запылал, начиная с башен, его собственный дворец. Напрасно челядь пыталась сладить с огнем. Когда же огненный смерч охватил кругом все здание, из леса вылетел стрелой конь и, не слушаясь узды, увлек седока в самое жерло пожара. Там тот и сгинул. Пророчество сбылось. Клубы дыма над останками гнезда Метценгерштейнов приняли форму огромного коня.

Мысль о «Страшной мести» Гоголя сама собой пришла мне на ум. Однако не сходство мотивов, вполне объяснимое, к примеру, миграцией сюжета

в духе «Исторической поэтики» Веселовского (и все-таки разительное, если учесть совпадение частностей, как, скажем, роль коня в развязке), а нечто иное, не столь очевидное обстоятельство заняло меня. Открыв том сочинений Гоголя, я убедился, что повесть была написана им в 1831 году и опубликована в начале следующего, 1832-го. Комментатор «Полного собрания рассказов» По лаконически повторял обе эти даты — применительно к «Метценгерштейну».

Находка стоила мне сна. Ворочаясь в темноте и пытаясь собрать разбегавшиеся мысли либо вовсе отмахнуться от них, я не мог, однако, избавиться от чувства, что и само это мое открытие не есть лишь простой филологический казус, но трюк судьбы. По складу души я человек, далекий от мистики, вернее, склонный, сколько возможно, держаться в стороне от нее. Я отдаю себе отчет в подозрительности такого признания: в моем случае оно не вполне уместно. Тем не менее я искренне не люблю совпадений, даже счастливых. Случай — это та маска, в которую охотней всего рядится рок. Исподволь тем самым он превращает нашу жизнь в фарс, ибо главное в совпадениях, конечно же, то, что они не случайны. Их тайная вязь, бросая вызов нашему чувству свободы, подтачивает силы, а порой и самое желание жить. Это подобно игре, где крупье шулер. Разумеется, такая мысль — крайность. Но риторика на грани яви мало подвластна доводам разума. Вскоре мне стало казаться, что я прав. По окраинам сна выстраивались в ряд все новые факты, вроде того, что оба писателя боялись — не совсем зря — преждевременных похорон; что Эдгар

По по неясным причинам всю свою жизнь уверял, что бывал в Петербурге (как раз в *эти* годы), хотя теперь доподлинно известно, что это не так; что оба, будучи христианами, верили в переселение душ (впрочем, в это верит большинство смертных). Наконец, как часто случается в дреме, мне померещилось, что это все — Гоголь, месть, игра дат — не что иное, как знаки других, тоже мрачных событий, касавшихся уже одного меня. Я давно не давал им волю в душе и полагал даже, что вовсе забыл их.

Я сел, потом встал и взглянул в окно. Был теплый ноябрь, листопад. Я сделался хмурым свидетелем окончания ночи. Гирлянды города меркли в утренней мгле. Ветер с юга, обычный, как я знал по бессоннице, в это время суток, оживлял гибридный куст под окном, еще полный теней. Мне было зябко и грустно. Уняв дрожь, я вернулся под одеяло, закрыл глаза. Что мы знаем о нашей жизни? Мы судим себя и других вкривь и вкось, и еще хуже наши дела. Слишком много ночей и дней дает нам время: мы не в силах удержать их в себе. Не потому ли в конце концов нас самих ждет лишь одно — забвение?

## II

Я родился в семье дипломата почти треть века назад. Именно случаю обязан я местом своего появления на свет. Миссия моего отца в Нью-Йорке вряд ли была безобидной. Все же он настоял на том, чтобы мать ехала с ним. Мать была против. Насколько я помню, городская жизнь всегда была

в тягость ей. Может быть, потому и я сам так и не привык до конца к столице. Отец, человек столичный по своим вкусам, профессии и судьбе, вовсе не мог взять в толк этих ее «причуд». Он держался мнения, что все должно быть разумно. Разум велит знать мир. Мать согласилась ехать лишь потому, что того требовали «инстанции» (так он ей говорил). До сих пор не уверен, только ли козни политики задержали их в Штатах и не строил ли отец в душе расчет, на который не раз намекал мне потом. Собственно, ложь он не ставил никому в упрек. Инфаркт положил конец его карьере, когда мне было семнадцать лет, и после этого я уже мог думать о нем все, что хотел. Я не спешил с выводами. Но странным всегда казалось мне то, что, едва родившись в мир, еще только грезя жизнью, я облетел половину планеты, чтобы потом найти себя на дорожке в саду, перед домом деда, накануне грозы, которую уже не помню.

Дом был построен добротно, перед войной, и пережил оккупацию. Осколок бомбы разбил стекло и продырявил дверцу буфета. Разумеется, к моменту моего появления стекла все были целы, дверца залатана, лишь несколько щеп отставало внутри, что было видно, если кто-либо приходил открыть то боковое отделение, в котором хранилась старая глиняная посуда. Здесь шеренга склянок с лекарствами, с водкой теснила пузатый кувшин, всегда пустой, и висели связки травы для настойки. Траву собирал в лесу сам дед. Лес — тоже древний, огромный, уходивший куда-то в Польшу (или, возможно, в Венгрию, я был слаб в географии), подступал к самому селу. Из сада была видна темная

гряда его верхушек, казавшихся ближе и темней, чем это было на самом деле. Даже в жаркий украинский полдень словно бы душной влагой веяло от этих вековых крон. Их аромат застаивался потом в сарае, где дед хранил и колол дрова. Перед сараем бродили куры. На чердаке был сеновал.

Подворье деда расширялось и росло из года в год и представилось мне исполинским в тот первый день в саду, когда я осознал себя. Не могу сказать, почему это случилось именно здесь. Может быть, спертый воздух перед грозой прояснил мне на миг ум, как-то особым образом толкнул или сжал его, и я увидал и запомнил — уже навек — цветы клумбы слева от калитки, себя, идущего мимо них на кривых вялых детских ножках (моя беспомощность меня не пугала), между тем как вокруг все готовилось утонуть в теплой розовой и бордовой мгле, а черная туча показывала край из-за ветвей дикой груши, росшей против крыльца. Потом год за годом все это старилось и ветшало, как-то съеживалось всякий раз, как я приезжал опять из столицы к деду, словно время прежде шло вспять, а тут вернулось в привычное русло, и мне казалось даже, что именно потому и от этого мне щемит на особый лад сердце в первый миг, когда вновь, после долгой зимы, я бегу по дорожке домой, к усадьбе деда.

Мое детство никогда не было жалким, ущербным, я не был ничем обделен. Напротив. Я едва успевал вместить в себя все то, что находил вокруг, и очень рано поэтому стал ощущать предательскую сущность вещей: они менялись слишком

быстро, быстрее, чем я хотел. Неудивительно, что я не чувствовал скуки. Что с того, что я был один!

Сад деда уступами спускался к реке, мелкой и светлой, с песчаным дном, и всегда холодной, даже в жару в июле. Соседские дворы пестрили окрестность неразберихой крыш, вишневых и яблоневых куп, а также вышками громоотводов, похожих издали на иглы, воткнутые в мох. Ниже по течению был став (запруда) с белыми лилиями и дощатой плотиной. Дед говорил, что прежде тут была мельница. Она сгорела в войну, как и все ее бледные подобия, которыми любит злоупотреблять кинематограф. За плотиной река обращалась в ручей и была притоком другой, большой реки, название которой я позже нашел в летописях. Эта река дала имя деревне.

Дом деда господствовал над двором и к тому же был самым большим на улице. Сад обступал его, но не мог скрыть. Зато кусты теснились у стен: сирень близ веранды, акация возле детской, виноград вдоль окон гостиной и спальни — и ночью, во тьме, вся усадьба казалась бесформенной громадой, лишь сверху урезанной скатами крыш. Днем в комнатах было зябко, солнце с трудом пробивалось сквозь листву, и я забегал сюда со двора лишь затем, чтобы хлебнуть на кухне из эмалированной кружки ледяной колодезной воды: запасы ее пополнялись всегда с большим усердием, хотя колодец был в соседнем дворе, куда вела специальная боковая калитка. Больше в доме днем делать было нечего.

Иное дело — сад и сарай. Знойный воздух плыл над травой, над клумбами, извлекая дурман

из настурций и флоксов, в соцветиях которых к тому же была дождевая влага — по капле в каждом цветке, — и, если выдавить ее на язык, сладкий яд жег нутро жаждой чего-то такого, о чем я еще не мог знать. В сарае, помимо дров, хранился весь инструментарий хозяйства. Тут пахло медом и дегтем. Грабли коварно подставляли зубцы под ноги, от чего их тонкая ручка-жердь вдруг выскакивала, танцуя, из угла, из середки других, ей подобных, но неподвижных (лопаты и сапки не были склонны к подвохам). Тут нужно было успеть отскочить. Верстак был опасен занозами, однако непоборимо тянул к себе коллекцией завитков из старых и свежих стружек, которым хотелось найти применение. Банки с гвоздями, набор гирь для весов, черно-желтые соты с мертвой пчелой, пульверизатор и старая, вся в паутине, реторта — дед когда-то занимался химией — таких сокровищ была бездна в сарае, и я, зайдя сюда с солнца, мог подолгу стоять и рассматривать их, чем приводил деда в недоумение: я никогда ничего не брал из его вещей, как не рвал и цветов, кроме разве что флоксов, да и их редко. Я смутно догадывался, на *что* намекает их яд. В дальнем углу сарая, над старыми ульями с железной крышей и темной щелью летка́, висели на стене весла от лодки. Покрашенные в белый и голубой цвета, с потертостями у уключин, они в разные годы вызывали у меня разные чувства: лодка была на плаву не всегда. У нее сгнивали то борт, то корма, а чаще дно, так что дед долго чинил ее и смолил, если вообще находил на это время. От этого между тем зависела судьба моих речных одиссей;

и, приезжая к деду, я первым делом осведомлялся: что́ лодка? Не помню, с каких лет мне позволили плавать одному.

## III

Американский городок, в котором я теперь живу (или вынужден жить, хотя это изгнание добровольно), расположен в ста верстах на юг от Нью-Йорка и носит редкое название: Riverband (Набережная). В России так бы могли назвать улицу, но тут порядки свои. Река, впрочем, действительно где-то есть, хотя мне ни разу не удалось подойти к ней вплоть. Она прячется среди низких и густых перелесков Нью-Джерси, сквозь которые я не умею продраться. Кроме того, я боюсь нарушить границу частных владений, а мне вовсе не хочется вторгнуться в чужой предел. В межевых знаках я не знаток. Это и вообще-то касается пространств моей случайной родины. Они организованы на свой лад, иначе, чем я привык, у них своя география, но она чужда мне. Человек искажает мир. Человек есть сам искажение мира, и потому, где возможно, я стараюсь двигаться по прямой.

Мой городок дает мне к этому массу поводов. Он весь состоит из двухэтажных домиков, расставленных словно в клетках; клетки образованы скрещением улиц, а мой дом находится на перекрестке их. Напротив крыльца — гидрант, которого так боялся Набоков. Если свернуть за угол, к гибридному кусту, и потом идти все вверх да вверх, на север, то вскоре — спустя квартал (или блок, как

тут говорят) — будет автобусная станция. Час в автобусе, потом три квартала по Сорок второй стрит в сторону, противоположную морю, — его аромат иногда заметен в воздухе, даже зимой, — вот и все, что требует от меня русское книгоиздательство в США. Я составляю комментарии. Делаю переводы. Правлю гранки. Мы издаем англосаксов по-русски и русских по-английски. Сейчас я комментирую По.

Но если, выйдя из дома, свернуть на запад и прогуляться вдоль припаркованных наискось к тротуару автомобилей, которых много на этой почти главной улочке городка, то по правую руку начнутся и потянутся чередой, квартал за кварталом, мелкие магазинчики, лавки, бюро проката, ремонта, кафе, пиццерии и, словом, вся та торговая мелюзга, которая в Европе живет шумной жизнью, а здесь, кажется, спит или пустует, хотя повсюду неоновый росчерк «открыто» не гаснет ни ночью, ни днем. Впрочем, ночью они все же заперты, это я знаю на правах русского, которому скучно по ночам.

Из них всех мой любимый — скромный букинист с забавным уклоном: философия, поэзия, иудаизм (в городе много синагог). Хозяин — смуглый американец с пейсами, ему бы лучше пошло сомбреро. Он мастак делать скидки, которые, на мой взгляд, давно должны бы были разорить его. Но он все еще на плаву. Его зовут Люк. Колокольчик над дверью оповещает о каждом входящем, против прилавка с кассой — два-три столика, за которыми можно выпить кофе, и, словом, все хорошо. Кофеваркой хозяин орудует сам. Я считаюсь

тут завсегдатаем, а потому состою с ним на короткой ноге. Это порой выражается во взаимном похлопывании по плечу — к примеру, под Новый год. Как-то я спросил его, видел ли он реку. «Конечно, — ответил он тотчас. — Я видел много рек». Я не стал уточнять, лишь похлопал его по плечу. Он широко улыбнулся и продал мне за бесценок «Сумму против язычников» Аквината. Заглавие ввело его в заблуждение: он, верно, думал, беря том в магазин, что gentile значит «гой».

Что же касается реки моего детства — той единственной реки из украинского полдня, — то она была близко от дома деда, почти во дворе. Выше по течению она делала большой выпуклый изгиб — как у Гофмана (Виктора, не Амадея), и там она была мельче и у́же; кладки (настилы из досок), похожие на крыльцо или плот, мыли в ней свои гнилые края. С них хозяйки стирали белье, пуская сиреневые от порошка круги, в которых при некотором старании можно было усмотреть тусклую радугу. Вниз, ближе к ставу, кладок не было. Берега окаймляли камыш и татарник. Река разливалась, заболачивая луг. Дно становилось илистым, вокруг первых кувшинок собиралась ряска. Весла цеплялись за подводные стебли, нужно было грести медленно и осторожно либо, вовсе вынув их из уключин, уходить на корму и тогда орудовать коротким рулевым веслом, перекидывая его поочередно на обе стороны. Так грести мне нравилось больше всего. Усадьба деда оставалась за спиной, впереди был став, а левее, на выступавшем мыском берегу, темнела еще одна, чужая усадьба, которую я всегда называл про себя «Плакучие Ивы».

Она составляла важное исключение из общего порядка сельских домов и садов, располагавшихся в окру́ге. Даже внешне она решительно выделялась средь них. Вербы и ивы, подходившие к самой воде (а со стороны улицы — к воротам), образовывали как бы зеленый купол, и, присмотревшись к ним, можно было легко понять, что ни огорода, ни каких-либо *полезных* посадок, к примеру фруктовых деревьев либо вишен, на дворе нет. Там всегда была тень. Сам дом был вовсе закрыт тенью, и все, что я мог разглядеть, проплывая мимо, был ветхий сарай, когда-то выбеленный известкой, но теперь утративший всякий цвет. Говорили, что «дача» (так называли все этот двор) принадлежала некоей детской писательнице, книжки которой я даже читал. Но самой писательницы не было видно. Вообще никого не было видно в саду и у речки, и «Плакучие Ивы» казались запущенными и безлюдными. За несколько лет я к этому совершенно привык, так что, вероятно, был бы даже расстроен, если бы что-нибудь здесь изменилось — неважно что́. Ибо с самого детства, возможно, в силу тайной своей склонности к постоянству чувств, я терпеть не мог перемен.

## IV

Но долго ли я был один? Припоминаю взрослых и сверстников, с которыми проводил изредка время, однако они никак не нарушают моего одиночества, того внутреннего и сосредоточенного уединения, к которому я себя приучил. Их как бы

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru